

главнич Егоров был в армии, но не воевал, а всю войну провел под Иркутском.

Вот и все население Байкальской Лимнологической станции (БЛС) в 1942 году. Потом оно пополнилось Еленой Михайловной Михайловой и Анной Юльевной Токаржевнич, эвакуированными из Ленинграда.

Почти со всеми обитателями БЛС времен войны моя судья пересеклась потом самым причудливым образом. Например, Валентина Абакумова записала диссертацию "Гидрохимия Ионинского моря" на той же сессии ученого совета института Окееанологии в Москве, на которой я защищала свою докторскую диссертацию. А с Евгением Николаевичем Егоровым я работал вместе в Таманской экспедиции Лаборатории озероведения. С Татой Харкиевич и проработал в одном институте (Эволюционной Физиологии и Биохимии) вот уже тридцать лет. Когда Ия Михайловна Леванидова (Бедутова) защитила докторскую диссертацию в Зоологическом институте, я голосовал "за", как член этого ученого совета, а ведь мальчишкой в ей разбил стекло из рогатки. Инна Яковлевна Делотик подбила меня баллотироваться на должность директора института Озероведения, но я, к счастью, не пошел. Сережку Талиева я катал на мотоцикле из Ленинграда в Петергоф и обратно. Но все это будет потом, а летом 1942 года главная проблема была в том, как прокормиться.

В магазине ничего, кроме хлеба выдаваемого по карточкам, практического не было. Академический паек, получаемый из Иркутска, был скуден, и вся надежда была на оторочу. Мы посадили картошку на мысе Березовом возле метеостанции. Копал Леб Юрьевич, а в уркалывал в лунки вехушки картофелин. От этого оторода было мало пользы, так как больше половинны картошки у нас украли.

Но картошку мало вырастить, ее надо еще и хранить всю зиму. Подползя в наш дом не было, и Леб Юрьевич выкопал его сам, но не очень удачно, так как в первую зиму много картошки померзло. Ко второй зиме мы подполье усовершенствовали, и картошка больше не мерзла.

Екатерина Робертовна, мать Леба Юрьевича, была шведка, уроженка баронесса фон-Рейндер. До замужества она жила в Гельсинфорсе и училась в русской гимназии, где преподавал молодой Юрий Берешагин. Женитьба учителя на собственной ученице была шатом, рискованным для чопорного Гельсинфорса, и молодоженам пришлось переехать в Люблин, где и родился в 1888 году Леб Юрьевич.

Из рассказов Екатерины Робертовны я помню описание ее детства в шире штанов для своего мужа.

— Вот Юра и говорит мне: сшей мне новые брюки, материал я уже купил, а заказывать у портного слишком дорого. — Я отвечаю,

Потом нас встретил Леб Юрьевич Берешагин, мы погулялись в поезд "ученик" и ночью выехали в порт-Байкале. Было это 20 июня 1942 года. Началась новая страница жизни.

Листвянка

(июнь 1942 — май 1945)

Пароход "III Интернационал" перевез меня и маму в сопровожденин Леба Юрьевича из порт-Байкала в Листвянку. Мы поселились в одной квартире с Лебом Юрьевичем Берешагиным. С ним жила его мать, Екатерина Робертовна, эвакуированная из Орла, где она жила со своей дочерью Лидией Юрьевной. Сама Лидия Юрьевна с мужем и сыном обосновалась в Иркутске.

Квартира помещалась в одноэтажном бревенчатом доме, примыкающим к усадьбе Листвянского поселкового совета. Сам Леб Юрьевич ночевал в своем рабочем кабинете и приходил домой только обедать или по другим делам.

Листвянка в те времена была совсем другой, чем сейчас. Дома стояли по обе стороны главной улицы, а не по одной, что получилось из-за размывания берега. На месте теперешней школы была лесопилка, да и церковь стояла не в Крестовой пади как сейчас, а на самом берегу Байкала у Кедровой пади.

Население Байкальской станции было немногочисленным. В отдаленном доме жил ихиолог Дмитрий Николаевич Талиев с женой Александрой Яковлевной Вазикаловой, трехлетним сыном Сережей и бабушкой Лелетеей Матвеевной.

В маленьком домике, который именовался "Сушилкой" (там действовательно когда-то сушили кедровые орехи) обитала гидрохимик Инна Яковлевна Делотик и гидролог Людмила Федоровна Форш (вао-ва дяди-Бориса) с дочкой Татой.

Дальше был дом капитана Николая Елиферьевича Иванова. Сам как питан ходил по Тихому океану на американской "Либерти" и возил грузы из Штагов на Дальний Восток. В доме жила его жена, красавица-украинка Ульяна Павловна с дочерьми Тосей и Светой. У Светы были парализованы ноги и она с трудом выползала на порог дома.

В самом крайнем доме, где раньше жил Борис Форш, во время войны жили гидробиологи Владимир Яковлевич Леванидов и Ия Михайловна Бедутова с матерью Надеждой Брониславовной.

Нашей непосредственной соседкой была гидрохимик Валентина Абакумова Егорова с сыном Толей. Ее муж, гидролог Евгений Нико-

Глеб Юревич опускал в воду размеченный на метры кабель электротермометра до первого порыва горной, но потом с видимой досадой начал выдирать кабель. Я сидел на веслах и старался удерживать лодку в разрез волн. Потом Глеб Юревич согнал меня с банки и сказал, чтобы я лежал на дне лодки для большей устойчивости, а сам сел на весла и начал с бешеной силой грести к берегу. Байкальская горная задвигает внезапно и очень свирепо, подобно знаменитой новороссийской боре. Это был первый штурм, пережитый мною. Я не успел ни укачаться, ни испугаться, а вот благодаря книге Россолимо, поднявшего все верештанские архивы, знаю точную дату и даже час этого события.

Глеб Юревич был кот со странным именем — Силикат. Этого кота он вытащил из Байкала, когда пошел вечером за водой. Кто-то из соседей топил котят, и вот одному повезло. Силикат вырос в большущего сибирского кота, ленивого и очень пушистого.

У кота Силиката была супруга — трехцветная кошка Егоровых. Супружество это было устойчивым, но несколько однобоким. Кот Силикат все время проводил на печке, обычно с птичкой в зубах, приходя к нашему окну и стучала в него лапой. Екатерина Робертвна открывала форточку и говорила:

— Котик, тебя зовут!

Силикат с характерным мявканьем прыгал с печки и не спеша вылезал на улицу. Там он сьедая принесенную ему птичку или мышь и снова отправлялся на свою печку.

Кот Силикат пользовался особой симпатией Глеба Юревича. Во время обеда он лежал у него на плечах — голова торчит справа, а хвост свешивается слева. Глеб Юревич несет на вилке кусок себе в рот и нарочно задерживает руку. Кот тут же поспевает снять котлом кусок с вилки и отправить себе в пасть.

— Глебушка, опять ты развращаешь животных, — говорила в таких случаях Екатерина Робертвна.

Мама по совету Глеба Юревича купила козу бурятской мясной породы. Козу звали Барька. При покупке маму уверяли, что у нее через месяц будут козлята и она будет давать молоко. Но прошла неделя, другая и третий, но ни козлят, ни молока не было. Я исправно готовила березовые венчики на корм козе, но она толстела и только. Тогда решили козу продать на мясо и купить новую молочную, как у Ми Михайловны. Глеб Юревич повел козу в Большую Черемшанку, но так и не дошел до покупателя, а вернулся назад со словами:

— Ну могу же я держать дома собаку, вот буду держать козу, а на мясо ее не продам.

что шить брюки не умею — в гимназии этому не учили. — А что тут уметь: две трубы, а сверху соединяются вместе. Ну я ему и шила по мерке две трубы. Юра наевает штаны и хвалит меня — хорошо сшила крепко и аккуратно. Но быстро выяснилось, что в этих штанах можно только стоять или, в крайнем случае, ходить, а вот сесть на стул или тем более присесть на корточки не было никакой возможности.

И тут Екатерина Робертвна взяла брюки Глеба Юревича, сложила их так, чтобы ясно был виден выступ при сочленении "труб" и показала нам — вот этого я и не сделала, просто не знала как кроить. Показывала Екатерина Робертвна свой баронский герб — олень, а на рогах лента с надписью "Импертой".

Екатерина Робертвна пыталась учить меня и Тату Харкиевич не только русскому языку. Делалось это при помощи икры в лоток с картинками. Какие-то слова мы выучили, но говорить по-немецки не научились. Умерла Екатерина Робертвна через год после нашего приезда, и похоронили ее на ливанском кладбище, сначала на могиле был деревянный крест, но теперь сохранилась только плита.

По приезде на Байкал первой маминной работой была наладка и тарировка электротермометра с мостом Уинстона, который был выполенен в виде струны, натянутой на портовский метр. По струне перемещался контактный джваж. Нуль-галванометр и шелочные аккумуляторы были тоже вышпильных размеров и веса. Я смотрел за маминной работой во все глаза и с трудом усвоил соответствующие электрической схеме и реальные проводов. Так я не только увидел, но и попробовал в работе мост Уинстона задолго до того, как его проходили в школе.

Как работала этот электротермометр для науки, я понял много позднее, читая книгу Леонида Леонидовича Россолимо "Температурный режим озера Байкал" (1957). Там на странице 531 есть такие фразы: "Эти наблюдения проводились в июле и августе 1942 года при помощи электротермометра... в империализма материяле (Черновыч записи) отсутствують точныч данные о месторасположении пункта измерений за исключением указаания, что они велись в "открытом Байкале"..."

...Во время последней серии измерений началась горная, вследствие чего измерения удалось довести только до 20 м."

Теперь никто уже не знает, что лежит за этими строками густо научной книги, не знает и Леонид Леонидович — знаю только я, потому и пишу. Это я выредал 1000 гребков в "открытый Байкал" и во все не на "судне", как написано в книге, а на рыбацкой лодке. А как же не поминать горную ("сибирский северо-западный ветер") — как сказано у Россолимо в 17 часов 7 августа 1942 года. Нас с Глебом Юревичем выбросило на берег где-то в Обукееке, так как прямо к станции уже нельзя было вырести.

Чтобы закончить кошачью тему, надо упомянуть о коте Дуропласе, которого подобрали в Горькинске и который жил у Леванидовых. Этот кот прославился тем, что смог продрать насквозь фибровый чемадан своего хозяина, в котором хранилась копаная колбаса полугненная для экспедиционных нужд с величайшими трудностями. Колбаса была частью съедена, частью унесена, и Леванидов тшестно гонялся за котом по всей территории станции.

В при всякой возможности старался быть возле Глеба Юревича и, разведя уши, слушал его рассказы. А рассказы были очень и очень интересными. Например, он говорил, как трое молодых людей поклялись ганнибаловой клятвой в верности науке об озерах — лимнологии. Это был Леонид Леонидович Россолимо, Михаил Алексеевич Фортунатов и он сам. И все трое эту клятву сдержали, хотя Фортунатов просидел по лагерям и ссылке более двадцати лет, а великодушное детство Россолимо — Косинская станция — была безжалостно разгромлена в 38 году. Первым из этого триумвирата умер Верещагин, Россолимо написал биографию Глеба Юревича. Потом умер Россолимо, умер подвывая на шит проблему эвтрофикации озер. Всех пережил Фортунатов, но вот его биография уже написана кем-то.

По этому поводу позволю себе маленькое отступление. Фортунатов жил и работал последние годы в Борке в Институте Биологии Внутренних Вод. Он великодушно изготавлял вина из местных ягод. Когда в Борке приезжал знаменитый канадский икхитолог Риккер, но попросивая Фортунатовский "Букет Борка", он сказал, что Михаил Алексеевич был бы в Канаде миллионером, так как ягод в Канаде много, а вина делать из них током не умеют. Когда Риккер вышел, то Фортунатов произнес запомнившюся мне фразу:

— Что вина, а вот каким миллионером я был бы в Канаде, если бы издал там свои мемуары! — Так этих мемуаров, кажется, никто и не видел.

Но вернемся в Листвянку 1942 года. Как-то Глеб Юревич пересказал мне "Три разговора" Владимира Соловьева. Это миф об антихристе. Через много лет мне попался этот рассказ в печатном виде. В конце, сразу узнал его, но насколько бледнее и скуднее было то, что напечатано, по сравнению с тем, что было рассказано. Пересказ Глеба Юревича был очень точным — никакой отсебятинья он себе не позволял. Но он любавил много живых красок и эмоций, которых так не хватало Владимиру Соловьеву. Сказалось наверно и то, что Владимир Соловьев был любимым философом студента Варшавского университета, да и сам рассказ происходил в кайте лепокола "Антра", который шел в последний осенний рейс новигации 1942 года.

Как бы в благодарность Барька через несколько недель родила двух замечательных козочек, которых назвали Пети и Маша. Была уже зима и козочки жили дома, обрызгая все, что можно обрызгать. Козочки бегали по всей квартире и пытались играть с котом Силика-том, но он уходил от них на пещку.

Как-то в гости к нам пришла какая-то научная дама из Иркутска. Сидела за столом, пила чай и разговаривала с Глебом Юревичем на научные темы. А у нее нот резвились козочки, дама гладила их по крутолобьям головкам с едва заметившимися рожками и умилялась симпатичным животным. Когда она встала из-за стола, то настроение ее резко изменилось — во время разговора козочки поспели сжевать почти половину ее юбки — в те времена это была невосполнимая потеря.

Коза Барька после рождения козочек стала исправно давать молоко, но в количестве чуть больше пол-литра в день. Но и это было большим подспорьем — молоко было очень густое и его наливали в чмечный или желудевый кофе, который еще был в продаже.

Когда козочки подросли, их продали в порт-Байкал, в Большие Бараньки. На смену козочкам появился один черный козленок, которого мама назвала Абу-Бекр, в честь какого-то арабского халифа.

Абу-Бекр очень любил спать на коленях у Глеба Юревича, который был вообще неравнодушен ко всяким животным. Сидел как-то Глеб Юревич в своем рабочем кабинете и печатал на дупотной пишущей машинке с закрытым шрифтом. Его позвали за каким-то делом в химическую лабораторию. Он извинился и сказал, что сейчас никак не может и просил подождать. А не мог он встать потому, что на его коленях спал Абу-Бекр и он боялся его разбудить.

Другой случай произошел с кошкой Вельмачкой, которая жила в Сушилке и принадлежала тете-Нине (Нине Яковлевне Делопик). Эта кошка, вполне оправдывавшая свое имя по отношению к листвянским собакам, каким-то образом заехала на самую верхнюю столба электропередачи. Залезть-то заехала, а вот спуститься не могла — ее пару раз ударило током и она дико выла. На спасение Вельмачки собралась почти вся лимнологическая станция или "Академия", как говорили в Листвянке. Глеб Юревич предложил отключить ток, но это не помогло — кошка была слишком напугана. Тогда он приказал принести длинный футшток с "Дыбовского" (это экспедиционный катер, о котором речь будет впереди), привязать к его концу корзинку и подать кошке. Последнюю операцию директор продвгал собственноручно, так как обдавал самым высоким ростом (192 см) не только на станции, но и во всей Листвянке. Кошка была благополучно снята со столба и преванная по этому поводу научная работа продолжалась.

Как бы в благодарность Барька через несколько недель родила двух замечательных козочек, которых назвали Лёги и Маша. Была уже зима и козочки жили дома, обгрызая все, что можно обгрызть. Козочки бегали по всей квартире и пытались иррять с котом Силика-том, но он уходил от них на пещку.

Как-то в гости к нам пришла какая-то научная дама из Иркутска. Сидела за столом, пила чай и разговаривала с Льбом Юрвевичем на научные темы. А у ее ног резвились козочки, дама гладила их по кру-толобым головкам с едва заметившимися рожками и умилялась симпа-тичным животным. Когда она встала из-за стола, то настроение ее рез-ко изменилось — во время разговора козочки успели сжевать почти половину ее юбки — в те времена это была невосполнимая потеря.

Коза Барька после рождения козочек стала исправно давать моло-ко, но в количестве чуть больше пол-литра в день. Но и это было большим подспорьем — молоко было очень густое и его наливали в чуменный или железный кофе, который еще был в продаже.

Когда козочки подросли, их продали в порт-Байкал, в Большие Ба-ранчики. На смену козочкам появился один черный козленок, которо-го мама назвала Абу-Декр, в честь какого-то арабского халифа.

Абу-Декр очень любил спать на коленях у Лёба Юрвевича, кото-рому был вообще неравнодушен ко всяким животным. Сидел как-то Льб Юрвевич в своем рабочем кабинете и печатал на дуплопной пишущей машинке с закрытым шрифтом. Его позвали за каким-то де-лом в химическую лабораторию. Он извинился и сказал, что сейчас никак не может и просил подождать. А не мог он встать потому, что на его коленях спал Абу-Декр и он боялся его разбудить.

Другой случай произошел с кошкой Вельмачкой, которая жила в Сущике и принадлежала тете-Нине (Нине Яковлевне Деготик). Эта кошка, вполне опраывавшая свое имя по отношению к листовянским собакам, каким-то образом залезла на самую верхнюю стола электро-передачи. Залезть-то залезла, а вот спуститься не могла — ее пару раз ударило током и она дико выла. На спасение Вельмачки собралась почти вся лимнологическая станция или "Академия", как говорили в листовнянке. Лёб Юрвевич предложил отключить ток, но это не помог-ло — кошка была слишком напугана. Тогда он приказал принести длинный футшток с "Дыбовского" (это экспедиционный катер, о кото-ром речь будет впереди), привязать к его концу корзинку и подать кошке. Последнюю операцию директор проделал собственноручно, так как обладал самым высоким ростом (192 см) не только на станции, но и во всей Листвянке. Кошка была благополучно снята со стола и пре-вращена по этому поводу научная работа продолжалась.

Чтобы закончить кошачью тему, надо упомянуть о коте Дуроплисе, всей терпимости станции.

В при всякой возможности старался быть возле Лёба Юрвевича и, развезя уши, слушал его рассказы. А рассказы были очень и очень интересные. Например, он говорил, как трое молодых людей покля-лись ганнбиоловой клятвой в верности науке об озерах — лимноло-гии. Это был Леонид Леонидович Россолимо, Михаил Алексеевич Фортунатов и он сам. И все трое эту клятву соблюдали, хотя Фору-натов просидел по лагерям и сызкам более двадцати лет, а велико-лепное дегитше Россолимо — Косинская станция — была безжалостно разгромлена в 38 году. Первым из этого triumvirата умер Велеша-гин, Россолимо дописал и издал многие его незавершенные работы, а Фортунатов написал биографию Лёба Юрвевича. Потом умер Россо-лимо, успев поднять на щит проблему эвтрофикации озер. Всех пере-жили Фортунатов, но он вот его биографию написать уже некому.

По этому поводу позволю себе маленькое отступление. Форуна-тов жил и работал последние годы в Борке в Институте Биологии Внутренних Вод. Он великолепно изготавлял вина из местных ягод. Когда в Борк приезжал знаменитый канадский иктиолог Риккер, но попробовав фортунатовский "Букет Борка", он сказал, что Михаил Алексеевич был бы в Канаде миллионером, так как ягод в Канаде много, а вина делать из них толком не умеют. Когда Риккер вышел, то Фортунатов произнес запомнимившуюся мне фразу:

— Что вина, а вот каким миллионером я был бы в Канаде, если бы издал там свои мемуары! — Так этих мемуаров, кажется, никто и не видел.

Но вернемся в Листвянку 1942 года. Как-то Лёб Юрвевич переиска-зал мне "Три разговора" Владимира Соловьева. Это миф об антихри-сте. Через много лет мне попался этот рассказ в печатном виде. Я, ко-нечно, сразу узнал его, но насколько бледнее и скучнее было то, что напечатано, по сравнению с тем, что было рассказано. Перекаса Лёба Юрвевича был очень точным — никакой отсбятныи он себе не позво-лял. Но он добавил много живых красок и эмоций, которых так не хватало Владимирю Соловьеву. Сказалось наверно и то, что Владимир Соловьев был любимым философом студента Варшавского университе-та, да и сам рассказ происходил в каюте ледокола "Ангара", который шел в последний осенний рейс новитации 1942 года.

Праздник 7 ноября мы встречали на "Ангаре" в открытом море. Насчет моря я не оговорился — так говорили все, и называть Байкал озером считалось большим грехом и плохой приметой. В уют-компа-нии был накрыт праздничный стол. Конечно, пили "за победу" и за "конец войны", хотя никакого конца еще не было видно и немцы под-ходили к Волге. Глеб Юревич водки вообще никогда не пил, но для поддержания антуража налил себе и мне в рюмки чистой байкаль-ской воды.

Капитан и Глеб Юревич произнесли патристические речи. Кор-мили великодушным омулем. После обеда начался концерт бурятских артистов, которые сели на "Ангару" в Усть-Баргузине. Мне запомни-лись протяжные бурятские песни о ягоде и об охоте, слова которых переводил на русский сам певец после исполнения. Я невольно всто-пал, свою няню-бурятку, о судьбе которой в Ленинграде ничего не знал.

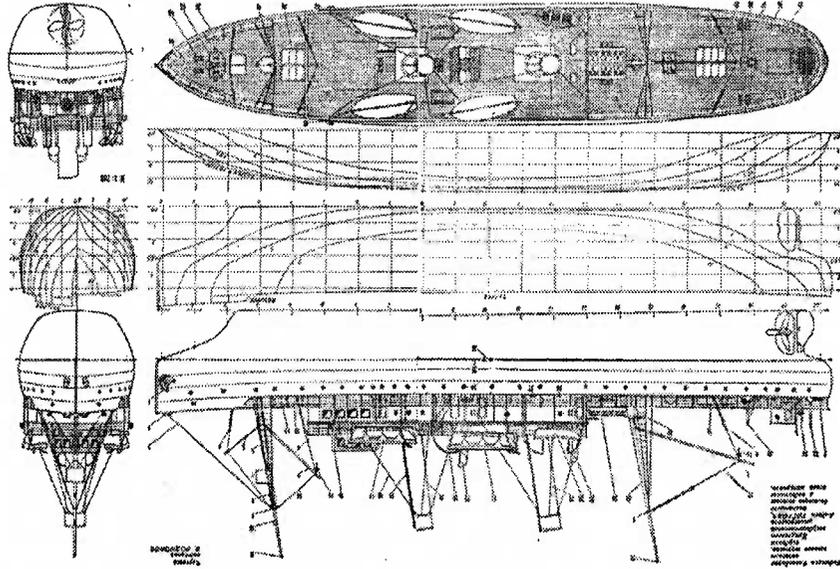
После праздника "Ангара" попала в сильный шторм. Меня и те-тю-Инну сильно укачало. Я лежал в каюте на верхней полке и вры-зался зубами в казенную подушку. Но тете-Инне, которая лежала на нижней полке, кажется было не лучше. Она окончила университет и была гидрохимиком, а я был всего учеником 5-ого класса ливин-ской школы, такое совершенно нелогичное сопоставление меня сил-но успокоило и я проспал до самого порт-Байкала. Пока я спал, Глеб Юревич не пропустил ни одного срока наблюдений и ходил по обе-денней палубе от психометра Асманана на носу до родникового термометра на корме через каждые 15 минут. Это я знаю точно, так как потом переписывал журнал наблюдений и расшифровывала коря-вый верещагинский почерк.

Глеба Юревича не укачивало вовсе. Он рассказывал, что его ука-чало всего один раз в жизни при переходе Атлантики.

— Там волна очень длинная, а в Байкале гораздо короче, — гово-рил он.

Говорил Глеб Юревич и о том, как сидел в тюрьме НКВД на Шпалерной. Мне запомнились из этого рассказа крысы, которые вы-ныривают из канализации, бегают по камере, а потом снова уходят в унитаз через водной затвор. Вот моя мама про тюрьму и лагеря ни-когда не рассказывала, наверно потому, что сидела гораздо дольше, чем Глеб Юревич.

Мне тогда казались странными соображения Глеба Юревича о том, что до революции расхождение общества было меньше, чем те-перь. Он аргументировал это тем, что прежде была тема, в которой человек из нижних слоев общества мог быть более просвещен, чем представлятель высших слоев. Этой темой была пенитенция.



Ледокол «Ангара»

В рейс на "Ангаре" Глеб Юревич взял меня наблюдателем. В мои обязанности входило через каждые 15 минут хода брать отсчеты с психометра Асманана, который висел на носу судна, и с родниково-го термометра, который свешивался на длинном штатге с кормы. Шли мы из порт-Байкала в бухту Залги на Ольхоне, потом в Онгуре-ны, а затем в Усть-Баргузин. Сказать, что это было интересно, — это было бы враной ложью. Это было для меня реализовавшимся воше-бством, феерической сказкой. Я плыл по Байкалу на настоящем ле-до-коле, построенном в английском городе Ньюкастле в 1898 году, и за-нимался настоящим взрослым делом. Сам капитан ледокола Лазо спросил у меня, какая температура воды, и я ответил с точностью до десятой доли градуса. Романы Жюль Верна начали воплощаться в жизнь. Праздник несколько омрачался тем, что меня укачивало и я стравил пару раз за борт.

В Усть-Баргузине нас встретил одноуркий В.Н.Абросов (тогда еще совсем молодой, но уже успевший повоевать на фронте). Угощал нас Абросов ондатрами — мы с Глебом Юревичем с удовольствием ели, а вот тете-Инна морщилась и отказывалась от жаркого.

— Да ведь это самые обыкновенные крысы, только водяные, — драз-нил ее Глеб Юревич.

С большой любовью говорил Лев Юревич о Польше и Варшаве, где прошло его детство и юность. Особенно часто вспоминал он Бедикта Дыбовского, благодаря лекциям которого он, собственно, по-пал на Байкал. С Дыбовским он переписывался и после революции, с гордостью показывая его письма. В разговоре с Екатериной Робертовной Лев Юревич часто употреблял смачные польские выражения и слова. Я усвоил только — „Прощу пани пить хербаты“ и „Лсякрев“.

Наступила зима 1942-43 года. Байкал покрылся льдом при тихой погоде. Молодой лед был прозрачен как стекло, можно было на него лечь и рассматривать как плавают бычки между камнями, взмучивая ил резкими движениями плавников. От хождения по прозрачному льду немного кружилась голова, как от высоты.

Школа в Листвянке была своеобразная. Половинный предметов про-сто не было из-за отсутствия учителей. Учеников не было вовсе. От холода в классе заморзали чернила и их приходилось отогревать в руках или за пазухой. Но в школу ходили регулярно, хотя вполне можно было и не ходить. Школа, по-существу, была любым местом общения, особенно зимой. Дров в школе вечно не было, несмотря на старания завхоза Фины Николаевны. Кое-как еще оттапливался ин-тернат, в котором жили ребята из Голустиного, Котов и порт-Байка-ла. Первой заботой по приходе в школу было растопить печку. Для этого, в основном, использовался забор верфи имени Емельяна Яро-славского. Иногда выдирать кусок забора не удавалось, и мы отпра-влялись валить листовницы на ближайшние сопки.

Мои школьными приятелями были Лева Василенко из Кресто-вой пади и Володя Дерис из Котов. Потом к нам присоединился Бо-рис Амельгольц из ссыльных. Круг наших интересов распространялся на изготовление рогаток и поджигал (самодельных пистолетов, стре-ляющих охотничьим порохом), игрой в зоньку или маялку (подкиды-вание ногой кусочка меха со свинчаткой), жеванием серы, катанием по наледям на рудяках (три конька на раме, прием первый ко-стянке было катастрофически мало. Школьная библиотека состояла из одного шкафа, книг по каталогу было 70, а на деле значительно меньше. Библиотека пососвета была давно и основательно разворова-на. Там остались только две книги по конструкции дрижабелей, аль-бом чертёжей пистолетов и револьверов, один том дореволюционного Шекспира с хрониками английских королей, „Искандер-наме“ Фирдо-уси и вторая часть Фауста Гете. В научной библиотеке Лимнологиче-ской станции мне удалось обнаружить несколько номеров „Морского сборника“ за 1898 год с подробным описанием испано-американской

Уленшпигеля“.

Спартак из Малой Черемшанки дали на неделю из Иркутска „Тия вкляеил фоторафии всех Меншуткиных. Появление каждой новой книги в Листвянке было событием. Мы повторяли их шутки и не всегда пристойные выходки и даже объяснялись друг с другом цитатами из „Тия“.

Девочки из нашего класса очень увлеклись „Дубровским“ Пушки-кина, который полагалось знать по программе и который мы читали сами вслух, пока у учительницы болел ребенок и она не могла хо-дить в школу.

„Торе от ума“ мы все переписали от руки, так как книгу привезли из Иркутска на несколько дней. Прибодовский стих действовал на нас не-отразимо и, надо сказать, сильнее пушкинского или лермонтовского. Тетя-Инна дала мне „Трех мушкетеров“ и я забыл все на свете, пока не дочитал книгу до конца.

Ребятам дошкольного и младшего возраста было совсем плохо — детских книг не было вовсе. Мамы лимнологической станции (Людми-ла Федоровна, моя мама и Александра Яковлевна) устроили „мамиз-дат“. Моя мама и Александра Яковлевна (ее все называли „Пулень-кой“) вспоминали по памяти детские стихи, а Людмила Федоровна (потомственный миниатюрист) украшала их изящными рисунками. Все это выполнялось на обратной стороне обоев или географических карт. Я рисовал старинные корабли и рыцарские замки. Что-то из произве-дений „мамиздата“ сохранилось у Серёжи Талиева. Иногда „мамиздат“ действовал только устно — так в „мамиздатском“ исполнении я по-знакомился с „Капитанам!“ Николая Гумилева, „Незаконной“ Дюка, а так же „Максом и Морисем“, „Сказками бабушки Татьяна!“ („Война грибов“ и другими), „Песней о Гайавате“ и „Кольцом Нибелунгов“.

Современно неожиданным из блокадного Ленинграда маме пришла бандероль от папного друга дяди-Гриши. В бандероли были томик сти-хов Валерия Брюсова с автографом и два тома справочника для инже-неров „Хюте“. Все это я изучил от корки до корки, и поэму Брюсова „Царю Северного Полюса“ почти всю знаю до сих пор наизусть.

"Остров Соковитш" Стивенсона был в Листвянке только в виде дактилорванного английского издания. Мама прочитала мне его с переводом на русский, а я пересказывала услышанное в школе, добавляя подробности по своему усмотрению.

Единственным учителем в школе, который трагил на нас много времени, был военрук. Молодой, еще неженатый парень, он уже побывал на фронте, получил сильную контузию и почти полностью отлох. Военрук с удовольствием играл с нами в лапту и рассказывал все, что знал сам. На примерах из своей неолгой фронтовой жизни он популярно объяснял нам содержание воинских уставов, особенно напирая на то, как следует эти уставы нарушать и не попасть под трибунал. Из рассказов военрука мы усвоили, как надо вести себя в маршевой роте, на передовой и в госпитале, если хочешь выжить. Рассказы нашего военрука совсем не походили на то, что ежедневно вещалось по радиотрансляции и печаталось в газете "Восточно-Сибирская Правда". Конечно, мы разбирали и собирали трехлиннейную винтовку образца 1893/30 годов, но основное удовольствие заключалось в том, чтобы из мелкакалиберной винтовки индивидуальноно военрук научил правильно целиться и плавно давать на спусковой крючок. После ливьянской школы у меня ни в инстинкте, ни на военных сборах в Кронштадте не было проблем с тем, чтобы попасть в черное пятно мишени из любого приличного оружия с приемлемым для начальства результатом.

Летом 1943 года Леб Юревич взял меня в экспедицию на "Чайке". Это была та самая "Чайка" на которой плавали мой отец и мать в дни своей молодости. На ней стоял тот же шведский мотор "Альбин", который налаживал мой отец. Только деревянный корпус 1916 года сменили на новый, но с сохранением старых обводов и конструкции. На "академском" пирсе нас провожала мама, и вообще весь наличный состав станции. Это было событие — первый рейс "Чайки" во время войны. "Льбовский" уже давно стоял на приколе из-за отсутствия топлива и командья. Для маленькой "Чайки" Лебу Юревичу удалось достать бочку дизельного топлива на всю навигацию. Капитану Басаляеву было уже больше семидесяти лет, а мотористу Васе Челпанову нельзя было поднимать тросы из-за какой-то очень злокачественной грыжи, кроме того, он болел язвой желудка и еще многими болезнями, по поводу которых военкомат начал освобождать его от призыва в армию. Научный состав экспедиции включал начальника — Леба Юревича, старшего наблюдателя — Аню Исаеву и младшего наблюдателя — меня. Историческую глубокую ледяную ледяку с кеймом "Юнайтэд Стейтс Сумарин Дивижн" с "Чайки" сняли и поставили вместо нее легкую Кузнецовскую ледяку с 200 метрами троса.

Итак, тихим июньским утром 1943 года "Чайка" вышла на традиционный разрез Лиственное-Ланхой. Капитан Басаляев поставил меня на руль, ткнув пальцем в картушку люточного компаса: "Вот правая так, чтобы эта цифра была всегда против этой черной черты, да сильно руль на борт не клади, действуй полегонечку. Но "полегонечку" не получилось — цифры градусов с названными румбов стремительно покатались мимо черной черты — курсовой линии. "Чайка" описала полную циркуляцию. — Штурманец, змея хребет сломалась, — так комментировал мой дебют в качестве рулевого капитан Басаляев. Потом дело наладилось, правда, порой величайшего напряжения внимания. Помню только, что я очень устал в первый день плаванья.

Леб Юревич учил меня обращаться с опрокидывающимся боковым двигателями.

— Это рихтеровские немецкие термометры — их надо очень бережно — неизвестно, еще когда война кончится — до этого новых не получили. — Это рихтеровские немецкие термометры — их надо очень бережно обращаться с опрокидывающимся боковым двигателями. Отчитывать сотые доли градуса тоже было далеко не просто и требовало предельного внимания. Леб Юревич проверял каждый мой отчет и в стараясь изо всех сил.

Аня Исаева велла метеорологические наблюдения.

В Ланхое мы ночевали у супрутов Капустинных. Это были ливийские люди. Муж работал на железной дороге и поэтому в армию не призывался. Жена была оформлена внештатным наблюдателем гидрометслужбы. На деле это были самые лучшие, самые добросовестные и самоотверженные наблюдатели по всему Байкалу. С обычными рыбачьими лодками они кружили около дельты температурных сепри наблюдений до глубины 300 метров с исключительно тщательностью. Потом данные супрутов Капустинных войдут в монографии Л.Л. Россолимо, В.И. Верболова и М.Н. Шимараева. По ним будут защищены диссертации, но их фамилии не будут даже названы. А тогда мы сидели в тесном бревенчатом доме у самого берега Байкала за столом, покрытом вытертой клеенкой, и ели картошку без масла. Леб Юревич что-то оживленно рассказывал, а я клевал носом — очень хотелось спать. Мне что-то постелили на полу и я заснул тут же на кухне у Капустинных.

Из Ланхоя "Чайка" двинулась к Посольскому сору. На песчаной косе мы разбили палатку и Леб Юревич терпеливо объяснил мне, как это делается по всем правилам. Палатка была старая, выгорев-

шая добыча на солнце, но с хорошим брезентовым полом и не текущая при дожде. У Глеба Юревича был удивительный английский офицерский спальный мешок первой мировой войны. Мешок на Байкальскую станцию. Мне был выдан легкий спальный мешок из оленьих шкур, принадлежавший некогда Надежде Станиславовне Евской — знаменитому гидрологу из Морябвгвгза, с которой мне предстояло встретиться уже после войны. Мое место в палатке было посередине между Глебом Юревичем и Аней Исаевой.

В первый раз в жизни спал в палатке и в спальном мешке. Глеб Юревич поднялся с восходом солнца.

— Плутика, вставай! — это было его традиционным восклицанием, о котором я знал от мамы, а теперь услышал в авторском исполнении.

Вася Челпанов и капитан, которые ночевали на "Чайке", занялись ловлей рыбы, а мы делали нивелирную съемку косы. Я бегал с тяжелой нивелировочной рейкой и длинной стальной рулеткой, а Глеб Юревич смотрел в нивелир, делал отсчеты и командовал моими переменениями. Был ясный ветреный день, много чужек с истопными криками носились над нами, а валяги бегали стены Посольского монастыря. Вечером мы разожгли костер и Вася Челпанов готовил "омуля на розжне". Омуть был очень жирный, и его капельки падали в огонь и вспыхивали на угльях. Капитан Басалаев рассказывал историю времен гражданской войны — он тогда плавал на "Ангаре" и видел всякие страшные вещи, не доступные моему пониманию.

На следующий день нивелировка продолжалась и тут Глеб Юревич начал нарочно, а может быть и вовсе не нарочно преподавал мне урок научного подхода к делу. Вечером, приводя в порядок дневные записи, он спросил:

— Вода, где начинался пятый профиль, от уреза воды, или от перепра?

Я ответил, что не помню, но, кажется, от уреза воды, как и на предыдущем разрезе.

— "Кажется" в науке не бывает — забрай рейку и пойдем делать профиль снова.

Уже начинало темнеть и мы очень торопились, но начальные точки повторили. Оказалось, что я делал все правильно, только забыл записать в журнал.

Благенная жизнь на косе Посольского сора скоро кончилась, и "Чайка" пошла в дельту Селенги в протоку Харыз. Вода из прозрачной превратилась в мутную, по берегам встали сплошные стены камыша, и налетели гучи комаров. Маяк Харыз был простым деревянным

ным сооружением, совсем не соответствующим моим представлениям о маяках, как о ромбидных полосатых башнях, об основанных которых разбиваются волны прибой.

На маяке Глеб Юревич вел переговоры об организации измерений видимости и прозрачности атмосферы. Вместе с маячником они устанавливали довольно примитивный дальнометр, который, кстати, делала моя мама — по части сверления, паяния и прочей слесарной деятельности у моей мамы руки были на месте, в отличие от Глеба Юревича.

Из Харыза "Чайка" пошла в залив Провал и встала на якоре у мыса Облом. Мы (Глеб Юревич, Аня и я) высадились на берег и разбили палатку. Нужно было вести какие-то измерения в заливе, но началась непогода, что очень раздражало начальника экспедиции. "Чайку" швыряло волнами и она не могла подойти к берегу. Глеб Юревич занялся своими записями и отпустил меня походить по берегу.

Я дошел до мыса Облом. Там ветер был еще сильнее, чем в заливе. Я уселся на сухое бревно под корявой сосной и смотрел на волны. Почему-то мне казалось, что именно в этих местах обвязательно бывал мой отец и вот так же смотрел на байкальские волны. А теперь его нет, и я никогда не узнаю на какой из типов между 10-ой Сосновкой и Лопманским перевалом он упал и замерз, а может быть попал под арктический обстрел. Я вспоминал топографическое отпа в студенческой фужажке с охотничьим ружьем на фоне той же самой "Чайки". Я мечтал, что когда я вырасту, в тоже стану студентом-кораблестроителем и буду работать на том же заводе, что и отец.

Непогода продолжалась два дня, а на утро третьего дня наступил штиль, и возле нашей палатки приземлились две белоснежные цапли. Глеб Юревич очень торопился (по-моему, он торопился всегда и во всем), и "Чайка" снялась с якоря и двинулась в Сухую. За двое суток болтания на якоре и еды всухомытку у Васи Челпанова сильно разболелся живот. Капитан и Аня лечили его домашними средствами.

На метеостанции в Сухой Глеб Юревич устанавливал средства для наблюдения над волнением — буй и волномерную рейку. Он терпеливо учил местную наблюдательницу — пожилую, усталую и безразличную женщину элементарным приемам. Женшина понимала плохо, что от нее хотят, но сообщила, что у них в магазине есть запасы черного некареного кофе в зернах по довоенной цене. Мы тут же пошли в магазин и с трудом нашли заспанного продавца, который с большой неохотой открыл тяжелейший замок на дверях магазина. Внутри было темно и пусто. И только один закором был полон белыми зернами.

— Вы с этим делом обращайтесь поосторожнее, — предупредил продавец, — тут у нас одна старушка пробовала из этих зерен лепеш-

тило — так это было сказано и великолепно. В Песчанке тогда было только один домик, и в нем жил одинокий маячник — старик Белев. Прием жил он в этом домике с 1916 года. Леба Юревича он встретил как старого знакомого. Вообще на Байкале, по-моему, все рыбаки, моряки, маячники и наблюдатели знали профессора Верещагина и спешили поговорить с ним. Пока Белев выпрашивал у Леба Юревича свежие новости, получал какие-то запасные части к лимитграфу и осваивал методику определения видимости и прозрачности атмосферы, у меня был целый день на осмотр бухты. Конечно, я вместе с Анней Исаевой взбирался на вершину Большой Колокольни к сапому маяку, откуда открывается великолепный вид на Байкал. Потом ходил в бухту Бабушку и набрал маленький мешочек разноцветной гальки и даже пытался зарисовать скалу Малую Колокольню, которая совершенно потрясла мое воображение.

На следующее утро Леб Юревич поднял всех, по своему обыкновению, на расвете и дал мне категорическое указание тщательно вычистить зубы. Дело в том, что близилось возвращение в Livingston, а Леб Юревич обещал моей маме, что проследит за тем, чтобы я хорошо чистил зубы, но спохватился только в Песчанке.

“Чайка” пошла в Голустаное под парусами, так как зашли устойчивый “верховик”. Леб Юревич радовался экономии топлива, а капитан Васалаев вспоминал свою молодость, когда никаких моторов вообще не было. Капитан всячески расхваливал мореходные качества “Чайки” и утверждал, что под парусами она идет быстрее, чем под мотором. Для меня это было первое плавание под парусами — я вылез к самому бушприту и слушал журчанье струй воды под корпусом “Чайки”.

В устье реки Голустаной, на острове, в те времена стоял высокий деревянный маяк с башней, обшитой досками, и площадкой с перилами вокруг главного фонаря. Маячником там был латыш Фридман с лицом, удивительно похожим на лицо молодого Дюка. В Голустаном мы устанавливали волномерный буй, в чем я деятельно участвовал. Дюка маячника совсем недавно подверглась смолению и смола потала на башни. Леб Юревич дотался что-то подложить под себя, а у меня не это не хватило сообразительности. В результате после усердной гребли я накрепко приклеился к башке, на которой сидел. Штанги у меня, естественно, были единственные. Мне пришлось вылезать из штанов и при помощи кипятка очень осторожно отклеивать их от досок, в чем мне помогла участвующая жена маячника.

На острове Фридман развел уйму кроликов, которые так и шныряли из стороны в сторону. Рассказывали, что потом на остров приплыла лиса и всех маячниковых кроликов передала.

ки печь пополам с мукой, так ей так плохо было, чуть на тот свет не отправилась.

Но Леб Юревич завел продаваца, что умеет обращаться с бра-зильским кофе еще довоенного завоа, и мы его купили столько, сколько могли унести. Для этого я снял с себя синий вельоневый свитер, завязал рукава и ворот, а внутрь насыпали кофе. Удача была совершенно фантастическая, так как ни в Иркутске, ни в Свердловске кофе не было с начала войны. Потом часть этого кофе мама переслала с оканной бабушке Ольге Дмитриевне, которая многократно за него благодарила в письмах из Свердловска. Последний остаток этого запаса кофе был выпит в Ленинграде в 1945 году.

В Усть-Харыз “Чайка” возвратилась ночью, и у островов Чаячого и Сахалина (есть такой остров на Байкале) нас настигла крупная волна со штормовым ветром. Открытый кокпит “Чайки” стало сильно заливать. Мотор прикрыли брезентом, чтоб не замочило магнето и свечи, а меня стало укачивать. Заход в протоку капитан Васалаев совершил с большим мастерством, и качать сразу перестало. Единственное хорошее качество у морской болести это то, что при прекращении качки она сразу проходит, и опять хочется в море.

Разрез Харыз-Бугульдейка делали при тихой погоде и со всей тщательностью. На этом разрезе, кроме температурных серий, Леб Юревич брал планктонные пробы, и в первый раз увидел, как это делается и вообще узнал, что такое планктон и чем макроректопус-бранинкий отличается от эписуры-байкалензис. Пройдет много-много лет, и я буду гулять по родной для Леба Юревича Варшаве и набреду на дворец польских манатов Бранинских, в честь которых назван этот планктонный рачок.

В перерывах между станциями Леб Юревич с увлечением рассказывал о кладопецах, тоже планктонных рачках, с которыми он занимал работу еще студентом. На экспедицию ему выдали шестьсот рублей царскими деньгами, причем пятьсот рублей одной купюрой с портретом Петра Первого. Леб Юревич говорил, что он тогда держал такие деньги первый раз в жизни, и как только можно отгаивал Бугульдейка встретил нас морем белой маков. Такого я никогда не видел, чтобы большая площадь за галечной полосой приобоя была покрыта белыми цветами, большие лепестки, которые легко отрыва-лись ветром, в изобилии лежали на земле и качались на волнах сла-бого прибоа.

На ночьку “Чайка” пошла в бухту Песчаную. Про эту бухту я уже слышал от мамы, и даже видел фоторафии, но, конечно, не представлял себе, что это такое. От удивления у меня даже дух захва-

Вот и Листвянка. Окончился мой первый рейс на исследовательском судне. На "академском" пирсе нас встречала моя мама, и я де-монстрировала ей, к удовольствию Глеба Юрьевича, свои великолепно вышитые в Песчанке и Голоустном зубы.

Во второй рейс на "Чайке" меня не взяли — мое место заняла Злата Дмитриевна Матренинская, недавно вернувшаяся из блокадно-го Ленинграда.

К осени рыбки дали для Байкальской станции топливо и средства — ожил "Бендикт Дыбовский". С этим, специально построенным для экспедиционных пелей, катером мы были одноподки — катер был спущен на воду летом 1930 года и строился на базарной плотины в Иркутске. Двигатель был на нем шведский керосиновый, только мощный, чем на "Чайке". Запускался двигатель на бензине. Во время войны с бензином было туго, и двигатель запускали на эфире, отчего моторист очень боялся заснуть, но все обошлось. Эфир в большом количестве был запасен на Байкальской станции для антомологиче-ских нужд. Проектировал "Бендикт Дыбовский" сын иркутского ученого В. Ч. Дорогогоцкого, инженер-кораблестроитель, у которого в потом буду слушать лекции по "Архитектуре корабля" в Ленин-градском кораблестроительном институте.

Глеба Юрьевича вызвали в Москву, куда вернулись из Свердлов-ска Президиум Академии Наук. Но у Глеба Юрьевича не было ника-кого, мало-мальски приличного костюма, так как он выехал на Бай-кал весной 1941 года только на летние экспедиционные работы и все его вещи осталось в Ленинграде. У Екатерины Робертовны сохранили-ся сюртук его отца в довольно приличном состоянии. Сюртук сидел на Глебе Юрьевиче великолепно, но выглядел крайне старомодно. Перешить сюртук в пиджак никто не брался. Так и поехал Глеб Юрьевич в Москву в сюртуке, сшитом еще в XIX-ом веке. Уже после возвращения, Глеб Юрьевич рассказывал, что когда он появился в Президиуме в отповском сюртуке, то ему немедленно по распоряже-нию академика-секретаря выдали ордер на современный костюм, в котором он и вернулся в Листвянку.

Из Москвы Глеб Юрьевич летал на "Дугласе" в блокированный Ленинград. В своей комнате он нашел полный порядок, так как она была опечатана Академией Наук, а вот комната его жены была пол-ностью разграблена. Жена Глеба Юрьевича была эвакуирована из Ленинграда и умерла в госпитале уже на Большой Земле. У нее ук-рали все карточки и документы, что резко ухудшило ее положение. Во время короткой командировки в Ленинград Глеб Юрьевич спас много рукописей и научных материалов. Обошел он квартиры своих сорудников, в том числе и нашу, но нашел там мало утешительного.

Рассказы Глеба Юрьевича о Москве и Ленинграде 1943 года все сотрудники слушали как откровение, ибо никакой информации о том, что делается в стране, помимо газет со сводками "Совинформбюро" и радио с песнями, маршами и утренней зарядкой, практически не было. А тут живое слово человека, летавшего через линию фронта и видавшего Ленинград в блокаде. Тогда в впервые услышал о много-численных американских "Виллисах" и "Студебеккерах" на улицах Москвы, о послаблениях по части церкви, о промадных потерях на фронтах, о поражении под Харьковом. Ведь это сейчас мы что-то знаем, а тогда, кроме лозунгов "Смерть немецким оккупантам!", "Все для фронта, все для победы!" и "Вперед, на запад!" и заметок о том, что в N-ском подразделении у города N боец такой-то героически подбил пять немецких танков, мы практически ничего не знали.

Из Ленинграда Глеб Юрьевич привез заказ на научную работу по прочности льда, за которую взялся со всей присущей ему энергией. В работе, кроме сорудников БЛС, участвовали водлазы школы ЭП-РОна, которые разместились в Слюдянке. Моя мама изготовляла прибор для измерения скорости льда под действием груза. Людмила Федоровна Форш перделывала барографы в прибор для записи термических деформаций льда. Я сделал свое первое рапионализатор-ское предложение — придумал, как приспособить лимниграф для за-писи перемещений ледовой щели.

Когда в январе 1944 года Байкал покрылся льдом, то против стан-ции выросла целая серия приборов и экспериментальных установок для изучения свойств льда. В фактически бросил ходить в школу и все дни проводил на льду в налаживании приборов и производстве наблюдений. Людмила Федоровна научила меня актинометрическим наблюдениям, и я узнал, что такое "альbedo", и не только узнал, но и ежедневно измерял его для поверхности льда и снега.

Обычно утром по дороге в школу я стучал в окно кабинета Глеба Юрьевича — это был сигнал о том, что ему следует идти завтракать. Вставал Глеб Юрьевич очень рано в 4-5 часов утра и сразу принимал за работу. Кроме всего другого писал он популярную книгу о Байкале, в которой была большая потребность.

3 февраля 1944 года я постучал в окно Глеба Юрьевича, которое привычно светилось, но не увидел обычной ответной улыбки из-за стекла. Я въез на завалинку и заглянул в окно. Лампа горела, на столе были разложены бумаги, но Глеба Юрьевича не было. Вдруг я увидел его голову ниже уровня стола. Глеб Юрьевич сидел на полу и глаза его были закрыты. Я еще не понял случившегося и подумал, что он просто спит в неудобной позе. Дверь была не заперта, я вошел в ка-бинет и понял, что дело гораздо серьезнее. Я побежал к маме звать

помощь. Через два дня, не приходя в сознание, Леб Юревич Береша-гин умер от кровоизлияния в мозг. И было ему всего 54 года.

Момент, когда я узнал о смерти Леба Юревича, запомнился мне зрительно. Я стоял, прислонившись к стене "Слушки", и тупо смотрел на снег и на крыльцо дома капитана Иванова. Наверху была скала и на ней деревянная лестница до первых деревьев. Вот нет Леба Юревича, как нет моего отца, бабушки Надежды Анатольевны, тети Веры, дяди-Володи, дяди-Вориса... То, что умерла Екатерина Робертовна, я еще как-то понимал — она была стара, и сама все время говорила о своей смерти. Но зачем Леб Юревич, который один мог поднять блок мотора с "Чайки" и тащить его через весь двор до "Академского" пирса? Он был полон идей о развитии науки об озерах и знал, что война скоро кончится, и впереди так много интересных падений на утоптанном снегу "Академского" двора, по которому уже больше не пройдет Леб Юревич. Я видел его больше всего вблизи глаза с маленькими морщинками, идущими от самого края глаз к ушам, его жесткие, торчащие вверх выющиеся волосы и небольшую борозку с проседью.

Байкал уже стал не тем Байкалом, что был при Лебе Юревиче. Тот Байкал был кристально чистым и на его берегах не было ни одной бумажки, ни одной консервной банки — может быть потому, что бумага была в большом дефиците, а консервные банки, особенно американские, никто не выбрасывал, а делали из них кружки, цветочные горшки, зажигалки и множество других полезных вещей. Тот Байкал излучал неистово и самозабвенно, не считаясь ни с временем, ни с опасностью, ни с отсутствием средств и приборов. И делал ли чудеса ни ради ученых степеней, престижных премий или доступа к закрытым распределителям — просто служили науке искренне и достойно. Нет больше того верешагинского Байкала, полученного им в наследство от Бенедикта Дыбовского.

Когда хоронили Леба Юревича, то весь путь от "Академии" до кладбища был устлан ветками пихты. Их разбрасывали школьники литвянской школы, но таков древний сибирский обычай. Из Иркутска приехал Михаил Михайлович Кожов и сказал речь над могилой Леба Юревича. На могиле поставили большой крест из лиственницы, что было видно с Байкала. Потом крест заменили глыбой смольнянского мрамора, которую выбрал ихтиолог Евгений Алексеевич Коряков.

Лето 1944 года я провел в ежедневных актинометрических наблюдениях под руководством Людмилы Федоровны. Еще увлекся я постройкой моделей кораблей. Сначала это были довольно грубые сооружения под руководством Людмилы Федоровны. Еще увлекся я постройкой модели турбина типа сепнетова колеса, но для привождения в движение модели судна она не годилась. Парусные модели получила лишь лучше, особенно хорошо ходила по "Академской гавани" двухмачтовая шхуна. Трехмачтовый корабль со стреляющими пушками обладал неважными мореходными качествами, но был хорош в декоративном отношении. Я подарил его Тимофеевым в Иркутске, где он долго привлекал к себе внимание соседских ребятшек.

По описанию в каком-то журнале я построил модель самолета с резиновым двигателем. На мое удивление модель сразу начала хорошо летать. Исклочительно из-за наличия в поссоветской библиотечке книг по дирижаблестроению, я построил из проволоки довольно большую несгорающую модель полужесткого дирижабля. В кабине дирижабля сидел медведь, а сбоку красовалась надпись HONEY, что означало мед. Это сооружение я подарил "дамам" и повесил у них на кухне под потолком.

Из Абукехе я умудрился принести в "Академскую" гавань листовичное бревно изрядных размеров. Его привозило к берегу от разбитой шатором ситара. Бревно было настолько большим, что я мог стоять на нем и плыть, отпихиваясь от дна шестом. Как я не свалился в ледяную байкальскую воду — мне совершенно не понятно. Критический момент перетона бревна наступил в тот момент, когда я отбавил верфь имени Емельяна Ярославского. Тут я потерял дно и понял, что меня потихоньку выносит течением в открытый Байкал. Я начал отчаянно грести шестом и в результате напряженная всех сил вернулась к берегу. Что меня ждет в открытом Байкале, да еще когда вот-вот зайдет солнышко, в отличие понимал, но матери только похвалял приятным бревном. Дров, натпленных с этого бревна, хватило нам почти на всю зиму, только пить его и колоть было очень неудобно, так как длинная двуручной пилы чуть-чуть больше диаметра бревна.

Другое приключение совершилось со мной в той же Абукехе под самым Новым годом, когда сопки покрылись снегом, а на самом берегу Байкала выросли большие ледяные наплексы и забереги. Зачем я потерял один в то место, где сейчас стоит солнечный телескоп, я просто не знаю. Но факт есть факт, я стал спускаться по заснеженному и обледеневшему склону и ухватился за березу. Береза оказалась гнилой и в куврыком полетел со скалы прямо в ледяную воду. Когда

из дерева очень тонкостенные корпуса и сам пошел до мысли, что на до начала долбить болванку по чертежу, а уж потом обстругивать ее снаружи, а не наоборот. Самые тяжелые проблемы были связаны с двигателем. Бершиной байкальского периода построения модели был пружинный механизм от неадекватного самописца. Работющую паровую машину мне так и не удалось сделать. Вертелась только паровая реактивная турбина типа сепнетова колеса, но для привождения в движение модели судна она не годилась. Парусные модели получила лишь лучше, особенно хорошо ходила по "Академской гавани" двухмачтовая шхуна. Трехмачтовый корабль со стреляющими пушками обладал неважными мореходными качествами, но был хорош в декоративном отношении. Я подарил его Тимофеевым в Иркутске, где он долго привлекал к себе внимание соседских ребятшек.

По описанию в каком-то журнале я построил модель самолета с резиновым двигателем. На мое удивление модель сразу начала хорошо летать. Исклочительно из-за наличия в поссоветской библиотечке книг по дирижаблестроению, я построил из проволоки довольно большую несгорающую модель полужесткого дирижабля. В кабине дирижабля сидел медведь, а сбоку красовалась надпись HONEY, что означало мед. Это сооружение я подарил "дамам" и повесил у них на кухне под потолком.

Из Абукехе я умудрился принести в "Академскую" гавань листовичное бревно изрядных размеров. Его привозило к берегу от разбитой шатором ситара. Бревно было настолько большим, что я мог стоять на нем и плыть, отпихиваясь от дна шестом. Как я не свалился в ледяную байкальскую воду — мне совершенно не понятно. Критический момент перетона бревна наступил в тот момент, когда я отбавил верфь имени Емельяна Ярославского. Тут я потерял дно и понял, что меня потихоньку выносит течением в открытый Байкал. Я начал отчаянно грести шестом и в результате напряженная всех сил вернулась к берегу. Что меня ждет в открытом Байкале, да еще когда вот-вот зайдет солнышко, в отличие понимал, но матери только похвалял приятным бревном. Дров, натпленных с этого бревна, хватило нам почти на всю зиму, только пить его и колоть было очень неудобно, так как длинная двуручной пилы чуть-чуть больше диаметра бревна.

Другое приключение совершилось со мной в той же Абукехе под самым Новым годом, когда сопки покрылись снегом, а на самом берегу Байкала выросли большие ледяные наплексы и забереги. Зачем я потерял один в то место, где сейчас стоит солнечный телескоп, я просто не знаю. Но факт есть факт, я стал спускаться по заснеженному и обледеневшему склону и ухватился за березу. Береза оказалась гнилой и в куврыком полетел со скалы прямо в ледяную воду. Когда

я встал на ноги, вода была мне по пояс, голова была рабита - из нее по лицу текла кровь и очень бодела кисть правой руки. Выбраться на берег по скользкому ледяному заберегу мне не удалось и пришлось идти по воде до самого мыса Безезового, где заберег кончался. Когда я пришел домой, то вид у меня был довольно страшный и доставил мой маме мало удовольствия. Было произнесено традиционное:

— У всех дети, как дети, а у меня черт знает что...

После этого были приняты соответствующие меры. Рана на голове оказалась пуствяковой, а вот на руке был обнаружен вывих, который весьма болезненно был вправлен в ливвянской амбулатории. Рука долго болела и на Новый год я мог есть вкусные вещи только левой рукой, что несколько омрачало праздник, ибо на встрече 1945 года я первый раз в 12 часов не спал, а был со взрослыми за столом, который устраивали в "Слушилке".



Женя и Вера Тимофеева. Иркутск 1945

Уже после смерти Луба Юрвьяча к нам приехала из Иркутска его аспирантка Вера Алексеевна Тимофеева. Она была в некоторой растерянности, лишившись руководителя, еще не приступив к работе, но мама ее успокоила и она стала жить с нами в опустевшей комнате Луба Юрвьяча.

Родители Веры Алексеевны — художник Алексей Андреевич и Се-рафима Степановна — жили в Иркутске, мама часто оставалась рафима Степановна — между нами установились дружеские отношения. У старшей сестры Веры Алексеевны — химика-органика Евгении Алексеевны на фронте под Будапештом погиб муж, и это как то сблизило ее и мою маму.

В те времена сотрудники станции ранним утром, еще до восхода солнца коллективно промывали браконьерским ловом рыбы в устье реки Крестовки при помощи невода. В невод попадали всякая мелочь, но зато очень много, во всяком случае мама приносила по полному ведру. Мама шла на работу, а я оставался чистить рыбу. Однажды рыба попала какая-то очень странная - в ней были большие пластины жира. На этом жиру я пытался что-то пожарить, жарилось плохо, но получилось съедобно и мама даже похвалила. Потом она сказала, что срочно выезжает в Иркутск и попросила меня упаковать рыбу для Тимофеевых, что я и сделал.

Дня через три мама вернулась из Иркутска и с ходу набросилась на меня стандартной фразой:

— У всех дети, как дети, а у меня черт знает что! Когда кончатся эти дурацкие шуточки!

День назад я разбил из ротатки окно в доме Ии Михайловны и недоумевал как быстро мама узнала об этом и тут же показала.

— Ах, еще и стекло!

Я понял свою стратегическую ошибку, но было уже поздно.

— Что ты послал Тимофеевым?

— Рыбу и жир из нее, — отвечал я, не понимая в чем заключается моя вина.

— Никакой это был не жир, а самые обыкновенные солитеры — рыбные паразиты!

— Но откуда же я знал, что это солитеры, я на них жарил рыбу, сам ел и ты с удовольствием ела перед отъездом в Иркутск. — Тут мама ел и ты с удовольствием ела перед отъездом в Иркутск. — Тут лотов и узнала, что есть рыбных солитеров не опасно, хотя и не рекомендуется.

После этого слычая Вера Алексеевна сказала, что меня некому по-командуется.

Потом этого слычая Вера Алексеевна сказала, что меня некому по-командуется.

Потом этого слычая Вера Алексеевна сказала, что меня некому по-командуется.

Потом этого слычая Вера Алексеевна сказала, что меня некому по-командуется.

мама пробиралась по темной квартире в поисках спичек, чтобы зажечь керосиновую лампу, она задела "поротельный станочек", который был введен на полную мощность. Механика заработала и розги начали со свистом рассекать воздух. Мама подумала, что эта диверсия направлена специально против нее и "станочек" прекратил свое недовольное существование. Потом за меня заступилась Вера Алексеевна и сказала, что это ее идея, и "станочек" был создан исключительно



Ольга Дмитриевна Форт и делегация Академии наук на Исык-Куле в составе делегации Академии наук

Между тем мама стала получать тревожные письма от Ольги Дмитриевны из Свердловска. После нашего отъезда в "Г"-образной комнате всю власть захватила Буба (Ольга Александровна Поряй-Копши) и бабушка стало трудно жить. Она хотела перебраться к нам на Байкал. Но Владимир Леонтьевич Комаров нашел временное решение проблемы и взял свою "кузину" (как он выражался) в длитель-

ную поездку по Средней Азии. Правда, в Алма-Ата бабушку обворовали и не где-нибудь, а в обкомовском саду. Украли паспорт, все ордены и деньги. Паспорт выдали новый, но казахский, так бабушка и прожила до самой своей смерти в 1961 году с казахским паспортом, где в графе "национальность" было написано "урус". После поездки по Средней Азии бабушка двинулась в Москву, где жила на подмосковной даче писателя А.С. Новикова-Прибоя. При первой возможности Ольга Дмитриевна прилагала все усилия, чтобы мы тоже приехали в Ленинград. В листованку пришел вызов от Союза Писателей на маму и на меня. Но нужно было еще разрешение от Академии Наук. На все это ушло несколько месяцев.

Мы продали козу, роздали остатки запасов картошки, передали kota Силиката новой бухгалтерше, которая поселилась в нашей квартире, собрали вещи и переехали в Иркутск к Тимофеевым в ожидании получения билета на поезд. На Ленинград прямые поезда еще не ходили, да и с въездом в Ленинград появились какие-то сложности, поэтому мы поехали в Москву. С большим сожалением я прощался с Байкалом, но в Ленинград хотелось вернуться, хотя семья Меншуткиных больше не существовала.

Послевоенный Ленинград (май 1945—1949)

Из Иркутска мы ехали в Москву в плацкартном, но переполненном вагоне. Место шести человек в одном отсеке нас ехало двенадцать. Я, памятуя опыт эвакуации из Ленинграда, занял третью багажную полку и доехал и так и до Москвы всего за семь суток. Прадник Победы мы встретили в дороге — узнали об этом на станции Татарская, что лежит по середине гладкой как стол западно-сибирской равнины. Весь поезд ликовал. Мама купила по этому поводу жареную утку. Где-то раздобыли спирт, и мы долго химичили с ним, доводя до нужной кондиции.

В Москве на Ярославском вокзале нас встретила девушка-шофер Академии Наук, посадила в открытые "Виллис" с убранным тен-том и покатила по улицам Москвы. В Москве я был первый раз, и все окружающее меня несказанно удивляло. Приехали мы в совет-шенно пустой особняк Президента Академии Наук на Пятницкой улице. Сказка продолжалась.